

Александр Етоев

**ЛЕТУЧИЙ
МАРСИАНСКИЙ
КОРАБЛЬ**

НОВАЯ КНИГА МЁРТВЫХ



ЛИТЕРАТУРНАЯ МАТРИЦА
Санкт-Петербург

Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Оттирает, молодец...

Николай Гоголь
(русский писатель)

Скупка мертвых душ и разные реакции на предложения Чичикова также открывают <...> свою принадлежность к народным представлениям о связи жизни и смерти, к их карнавализованному осмеянию. Здесь также присутствует элемент карнавальной игры со смертью и границами жизни и смерти (например, в рассуждениях Собакевича о том, что в живых мало проку, страх Коробочки перед мертвецами и поговорка «мертвым телом хоть забор подпирай» и т. д.). Карнавальная игра в столкновении ничтожного и серьезного, страшного; карнавально обыгрываются представления о бесконечности и вечности (бесконечные тяжбы, бесконечные нелепости и т. п.). Так и путешествие Чичикова незавершимо*.

Михаил Бахтин
(русский мыслитель, литературовед)

* Подчёркивание моё. – А. Е.

Я – Земля!
Я своих провожаю питомцев,
дочерей, сыновей...

Евгений Долматовский
(русский поэт, автор множества песен,
положенных на музыку такими известными
российскими композиторами
как Марк Фрадкин, Борис Мокроусов,
Никита Богословский, Матвей Блантер и др.)

Они жили на планете Марс, в доме с хрустальными колоннами, на берегу высохшего моря, и по утрам можно было видеть, как миссис К. ест золотые плоды, растущие из хрустальных стен, или наводит чистоту, рассыпая пригоршнями магнитную пыль, которую горячий ветер уносил вместе с сором. Под вечер, когда древнее море было недвижно и знойно, и винные деревья во дворе стояли в оцепенении, и старинный марсианский городок вдали весь уходил в себя, и никто не выходил на улицу, мистера К. можно было видеть в его комнате, где он читал металлическую книгу, перебирая пальцами выпуклые иероглифы, точно струны арфы...

Рэй Брэдбери (американский писатель)

Рвутся снаряды. Вечер. Гляжу в окно. Сполохи многоцветные. С тополя, с самой его верхушки, смотрит мне в глаза Марс. Планета смерти. Моей? Не знаю. Возможно. Даже наверняка...

Эрнст Юнгер (немецкий писатель)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

– Опять ходил к сфинксу, Лунин? – В голосе у Илича была трещина, тот обычный марсианский изъяз, что отличает старомёра со стажем от таких мертвецов, как я. В трещине настоялась желчь. – Это что? – Он показал на сцепленные ремнями ботинки, висевшие у меня на поясе. Потом посмотрел косо на пыльные пальцы ног.

– Жмут. – Я расцепил ремни и бросил ботинки в нишу.

– Лунин, Лунин! Плачет по тебе песчаная лихорадка. А если ногу поранишь?

– Здесь мягко.

– Мягко. – Илич кивнул. – Тепло, сухо, тоска. Поэзия, одним словом. Ты, Лунин, в последнее время что-то совсем дураком сделался.

Я пожал плечами. В спину Илича со стены, из еловой, в древесных разводах, рамы, глядели немигающие глаза. Человеческие, большие, оставшиеся без Бога живого, – два грустных собачьих глаза: они смотрели с Земли, Земля была высоко,

за миллионами километров холода, Илич был здесь, между мной и собачьим взглядом, печальный старомёр Марса, с узким, в складках, лицом, серый, сухопечий, коротенький. На меня смотрел по-собачьи. Говорят, первое, что он сделал, когда поселился в куполе, – повесил на стену эту вот фотографию: Байрона, дога с человеческими глазами, земную свою печаль.

Небо и песок, нитка холмов к северу протянута в область Уира, там, на зыбучих песках, на плато Янека, сложенном из пластов слюды, за сотни километров отсюда – тысячекупольный Плато-Сити. К югу, востоку, западу – разбросанные по пустыне посёлки. Как наш, такие же.

В посёлке, под куполками-кúколями, нас пятеро: Илич, Семибратов, Изосимов, Фомичёв, я.

С Иличем мы живём в «третьем номере», купол так называется. Семибратова я не видел с месяц. Но его видел Изосимов, он про это говорил Иличу в прошлый вторник. Фомичёва я вижу часто. Вечно ходит со своим ящиком по береговой зоне, пугливый, всего боится, я как-то вышел на него из-за Подзорной трубы, а он сидит над ящиком, руки туда по локоть, череп разъела соль, глаза закрыты, дрожит, по тонкой ленте слюны, что тянется с подбородка вниз, бегают зелёная тля – двойник молодого Деймоса.

Я хотел уйти, но не выдержал, выстрелил языком о нёбо, он услышал, глаза безумные, захлоп-

нул на ящике крышку и всё на меня смотрит, не оторвётся, ждёт, когда я подойду, а нога его уже напряглась, уже пальцы вцепились в лямки, уже тело готово прыгнуть, бежать от лютого марсианского зверя, то есть меня. Потом он понял, что это я, – даже мне рукой помахал, а я вижу какое у него в глазах дружелюбие, какая-то змея живёт у него в глазах и жалит сквозь марсианский воздух.

Я ушёл и никому не рассказывал. Я знаю, когда все другим начинают говорить про других, получается какая-то клейкая лента, оплетающая всех и вся – тела, вещи, воздух, следы, слова; невидимая, клейкая лента, наподобие липучки от мух. К которой хочешь, не хочешь, а обязательно когда-нибудь да прилипнешь.

– Чай горячий, – сказал Илич и сразу же про меня забыл, корёжа листок бумаги маленькими костяными ножницами.

– Да? – Я плеснул в чашку заварки и разбавил её кипятком. Потянулся к сахарнице, остановился: на крышку, на выпуклый белый глянec, налип шерстяной клочок – несколько спутанных рыжеватых шерстинок в налёте сахарной пудры. Я снял их осторожно мизинцем, поднёс к лицу. Может, собачина, а может, заходил Фомичёв, он вроде бы у нас рыжий. Сдул шерстинки с руки, насыпал сахар, зазвенел ложечкой, услышал, как загремела дверь.

В проёме стоял Изосимов.

– Новостей не было? – Изосимов был большой и смуглый, пальцы дергали молнию на кармане – влево, вправо, – за чёрной прорезью мелькал уголок платка.

– Каких? – Я отхлебнул из чашки.

Илич возился с ножницами, на Изосимова он даже не посмотрел.

– Плохих, каких же ещё. – Изосимов затрясся от смеха, забулькал, лицом задёргал, потом его как ударили – он в секунду стал грустным, вынул из кармана платок и, смяв его, убрал снова. Постоял и больше ничего не сказал, ушёл.

Дверь осталась открытой.

Я подошел закрыть, снаружи пахло песком и вечерним настоем воздуха, было холодно, в небе белели звёзды, спина Изосимова уплывала от меня по дуге, плечи делались ниже, он остановился на полдороги к своему куполу, выхватил из воздуха что-то невидимое, потом ещё, и ещё, потом размахнулся, выбросил это что-то обратно в воздух, опустил на четвереньки, поковырял песок, сгрёб его ладонями в горку, поднялся и ударом ноги сровнял своё творенье с землей.

Я вздохнул, повернулся идти к себе, в свой аппендикс с промятой койкой, с воздухом, заражённым бессонницей, услышал костяной стук, это Илич уронил ножницы. Его лицо, только что благодостное, как лавра, стало маской, химерой, лар-

вой, изнанкой слепка с подсвеченными красным марсианским огнём дырами вместо глаз.

– Спасибо за чай. – Я прошёл к себе и запер дверь на задвижку.

В красных сумерках белел Фобос. Купола притихли, сплющившись под навалившейся тьмой.

Щёлкнул переключатель, стена сделалась непрозрачной, Марс пожил ещё с полминуты в моих глазах и пропал.

Потянулась ночь. Она текла мучительной лентой через мою бессонную голову, я хватался за крохи сна, они таяли, как ленинградский снег в каменном колодце двора у маленького мальчика на ладони.

Я стоял, снег падал и таял, рука стала сморщенной и чужой, я вспомнил про упавшую варезку, повернулся, чтобы её поднять, как вдруг что-то чёрное и большое зашевелилось на примятом снегу, захрипело, стало расти, и тень от этого детского ужаса протянулась через прошлое в настоящее.

Я не спал, я смотрел на дверь, на холодную точку света, медленно ползущую по металлу. Она сделала плавный круг, погасла, я услышал тихий хлопок, и на серой дверной пластине проступило круговое пятно.

Сначала в нём была одна пустота, потом проявился глаз – тусклая бесцветная линза с утопленным в глубину зрачком.

Я не спал, я смотрел на дверь, веки мои были чуть приоткрыты.

Глаз исчез, с секунду дыра молчала, успокаивая меня тишиной. Потом медленно, как в сонном бреду, в мою комнату пролезла рука и, вяло перебирая пальцами, потянулась к дверной щеколде.

Я взял скальпель, дошёл до двери, примерился и ударил; и смотрел, как у меня под ногами дёргается отрубленный палец.

Я молчал, за дверью молчали, крови на полу не было.

Рука медленно исчезала в дыре, я медленно проводил её взглядом, поднял с пола обрубок и бросил руке вдогон.

По ровному круговому срезу уже бегал скарабей-огневик, и над вязкой ферментной пленкой шевелились радужные дымки.

Дыра затянется скоро, но этого я уже не увижу. За час я успею добраться до Белой Дельты.

2

Дорога была светлой и тёмной: от светлых и неподвижных звёзд и от тёмной и неподвижной тени затерявшейся среди звёзд Земли.

Я шёл, забирая к северу и отмеривая шагами жизнь. Впереди упала звезда, справа ухнула и с сухим шумом осыпалась песчаная пирамида. На лежбище красных ящеров поднял голову хранитель семьи и проводил меня долгим взглядом.

Я жил воздухом, который вокруг меня, я не хотел жить тем, который внутри меня. Видит бог, я не хотел уходить, не было в моём сердце бегства, это сон вёл мои ноги, сейчас я был обитатель болот, который видит себя в Элефантине.

Обойдя с запада Песчаные пальцы, я увидел длинное тело, застывшее среди набухших теней.

– Не спится? – Изосимов поднялся с земли, и тело его стало обычным – тень осталась лежать на песке. Он потёр отёчные веки. – Этой ночью все куда-то идут. Ночь такая, или люди такие. Всякому нужен воздух. Смотри. – Он ткнул за моё плечо и провёл в воздухе волнистую линию. Я повернулся, но так, чтобы не выпускать Изосимова из виду. – Огни Баби.

По спицам Песчаных пальцев, по выщербленным ветрами граням, сплетаясь и расплетаясь, ползли световые змеи. Чем ближе они стягивались к вершине, тем резче делался свет, тем плотнее обступала их темнота и сильнее стучало сердце.

Лес свечей. Танец святого Баби. Нити света на пальцах-фаллосах кружились в безумной пляске, надо было закрыть глаза, надо было бежать без оглядки, но глаза, но ноги, но тело стали глиной, стеклом, песком, воля свёртывалась бумажной лентой, а в пустом марсианском небе прыгала, выпивая душу, многорукая огромная обезьяна и тянулась ко мне огненным языком.

Изосимов кряхтел за спиной. Я чувствовал, как горячий воздух упирается мне в затылок

и стекает по коже вниз. Я слышал, как у него на губе трескается сухая кожица и дёргается его острый кадык.

Медленно, очень медленно я свёл подушечки пальцев и сложил из ладоней дельту. Тихо произнёс имя. В ушах шелестела кровь. Я вслушивался в её течение. Время замерло. Я стоял и ждал. Изосимов уже не кряхтел. Он слизывал с губы соль.

Я сглотнул и повернул голову. Изосимов стоял на коленях. Плечи его были опущены, приплюснутая к плечам голова моталась из стороны в сторону, пальцы теребили песок, оставляя на нём следы обезьяньих лап. Он вздрогнул, посмотрел на меня и, подпрыгивая на руках и ногах, стал медленно отступать в сторону песчаного леса.

Огни Баби уже погасли. Белая точка Деймоса вынырнула из глубины запада и тихо потекла на восток.

– Лунин! – прилетело ко мне из-за песчаных стволов. Голос Изосимова метался, словно жил отдельно от человека, и делался то маленьким, как птенец, то большим, как пожарный колокол. – Ты знаешь, почему мы все здесь. Там мы умерли, а здесь родились, Лунин. Забудь про Землю, она не твоя, сфинкс её тебе не вернёт, она сторела, как Фаэтон, она...

Я Изосимова не слушал.

Я шёл, сбивая с песчаных рёбер чужой земли сухую марсианскую пыль.

Марс – не моя земля. Марс – это Марс, чужбина. Расстояние между двумя планетами – между Землей и Марсом – вымеряно не по линейке, это другой масштаб: там, на Земле, – жизнь, здесь – смерть, это Марс, это планета мёртвых, зона, отделённая от Земли холодом и ладьёй Харона, – нет уже нас там больше, там мы тени, кладбищенские кресты, под которыми чернота и только.

Оттуда мы приходим *сюда*. И никогда обратно. Так мне сказал Илич. Так мне сказал Изосимов. Повторил Фомичёв. Так злыми глазами мне сказал Семибратов.

Но...

Это «но» мне не даёт покоя.

Оно осталось на Земле, моё «но». Там, на Земле, не здесь. Мне надо *туда*, на Землю.

Я Изосимова не слушал.

Я шёл, сбивая с песчаных рёбер чужой земли сухую марсианскую пыль.

Коса становилась уже. Мелкие слюдяные окна на жёстком хребте косы хрустели, как первый лёд, под моими стоптанными подошвами. Слева темнел залив, справа между наростами мерцающих

в полутьме кораллов шевелились с протяжным стоном сыпучие струи Дельты.

Вправо, вверх по течению, – Плато-Сити, Хрустальный город, маленький марсианский Рим. Влево – море и острова. Мне всё равно, куда.

Я остановился на взгорке, вглядываясь в неподвижные тени. Здесь. Косой коралловый крест, зигзаг тропы, вниз по склону, десять шагов, разгрести слюдяные иглы, чёрт, набился песок, жаль, что нету лопатки, ладно, руки бы не поранить, чёрт...

Из щели у края грота полезли вёрткие хедгехги, маленькие живые шары с протянутыми во все стороны хоботками-иглами. Один, два... четыре... Обычно их бывает двенадцать. Двенадцатый – хранитель семьи. Он выходит последним и выстреливает во врага слюной. В глаза. Не промахиваясь. Мгновенно. Паралич глазного нерва. И – слепота. Ослепнуть мне только и не хватало. Девять, десять, одиннадцать...

Я нащупал кусок слюды и выставил перед глазами, как щит. Густая едкая слизь облепила слюдяную пластину. На воздухе она сделалась твёрдой, пошла паутиной трещин и окрасилась в бурый цвет. Я счистил налёт с поверхности и собрал в цилиндр из обсидиана.

Маленький хранитель семьи сморщился, как спущенный мяч, кончики игл поникли, вялые, ослабшие хоботки судорожно цеплялись за землю. Я погладил его ладонью. Извини.

Плот-ковчег был сильным и терпеливым. Когда я встретил его полгода назад, умирающего в Крестовой низине, с перебитыми лапами, источенного личинками болотной тли-костоеда, в́ыходил, залечил раны, – то, сам не знаю зачем, назвал его Гелиотропионом, то есть Следующим за Солнцем. Имя ему понравилось.

Одногодка с Фобосом, он помнил каждую каплю песка в бездонных марсианских морях, каждый подводный риф, каждую рыбу-фау, которых запускают в фарватеры бесполые слуги Монту.

Я счистил с него песок, обмазал его всего соком дерева кау, нащупал в слуховой пазухе кожную шишку рецептора, послал сигнал пробуждения.

Прошла минута. Гелиотропион ожил, почувствовал гул волны, ласты его напряглись, набухли зрительные узлы, в броне лобовых пластин открылись звёздочки тепловодов, и плавные стебельки пара медленно потянулись вверх.

Перед тем как исчезнуть в море, Белая Дельта распадалась на тысячу рукавов, миллионы песчаных речек, бесконечную паутину ручьёв, и всё это летело, текло, перетирая сыпучими жерновами камень, дерево, пластик, металл, плоть и душу мёртвого и живого.

Люди в этих местах не селились.

Купольный лагерь экспедиции Говорухи-Отрока, поставленный на Треугольной косе, стал марсианским Китежем, городом-невидимкой, первой из массовых гекатомб, устроенных Красной планетой в честь незванных гостей.

Вся прибрежная зона была объявлена вне закона.

Лишь изредка сюда забредали полубезумные одиночки-старатели, заплывали матриаршьи ковчеги с изображением разбухшей вульвы на фаллических кормовых шестах да медленно текли в никуда плавучие купола отшельников.

И если ты собрался бежать от прошлого-настоящего-будущего, то лучшего места, чем устье Дельты, море и острова, трудно было придумать.

Первую рыбу-фау Следующий за Солнцем почувствовал за милю от острова.

Остров темнел маленькой красноватой родинкой на трепещущем теле моря и казался робким, уютным, а дымка тёплого воздуха обещала хлеб и покой всякому, кто идёт сюда с миром.

Сильно хотелось пить. Вода в подкожных резервуарах Гелиотропиона была солоноватой и маслянистой и не утоляла жажду.

Солнце уже поднялось – ленивый воздушный шар с умирающим светляком внутри. Мелкие иглы света пронзали поверхность моря, искры щекотали глаза, будто под веки попала пыль.

Гелиотропион замер. Броневые пластины вздыбились, полость, где я сидел, втянулась глубоко в тело, выдвинулся роговой козырёк.

Он подал мне мыслесигнал.

Рыбу-Фобос, или – как обычно её называют – рыбу-фау, выращивают в приграничных запёсках на восточном берегу Дельты. Занимаются этим смертные братья – исповедующие культ Монту бесполое люди-ящерицы, истребители жизни.

В рыбу, в мужские особи, вживляют ядерное устройство, которое становится частью её сложного организма, возбуждая в нужный момент инстинкт продолжения рода. Рыба чувствует человека или другое теплолюбивое существо, воспринимает его тепло, улавливает биотоки мозга и, как самец, соблазненный самкой, стремится ему навстречу. В момент, когда нервное напряжение достигает крайней черты, в рыбе срабатывает взрыватель, и любовь кончается смертью.

Смерть на Марсе значит совсем не то, что значит она на Земле, планете живых. Танатос железосердный переносит тела умерших на иные уровни псевдожизни, в области глухие и скрытые, на орбиты от Нептуна и далее, в царства пустоты и безлюдья. Не дай бог умереть на Марсе.

Обычно в этих местах рыбы-фау не появляются. Но Марс не Земля, а Марс, постоянного здесь ничего не бывает: друзья, враги, привязанности, обычаи и законы – всё текуче, как марсианские реки, в которых вместо воды песок.

Следующий за Солнцем водил хоботком-локатором, набухшим, как детородный орган.

Рыб-фау всего оказалось шесть. Они плыли на нас подковой, рассредоточившись по неширокой дуге. Расстояние с каждой секундой таяло.

Мысли Следующего за Солнцем звучали в моей голове тревожно. Будь Гелиотропион один, он мог бы спрятаться в глубину, закрутив свое тело штопором, укрыться под тысячетонным щитом песка, мог просто плыть им навстречу, и они бы проплыли мимо – он же не человек.

Все дело было во мне: однажды я вернул ему жизнь. Поэтому он не мог выбрать ни первое, ни второе. А больше выбирать было не из чего.

Расстрелять их электромагнитными импульсами? Одну, две – это ещё куда ни шло. Но шесть – шесть ядовитых взрывов, шесть отравленных стрел, и ветер дул в нашу сторону!

Отступить было поздно.

Сфинкс? Я сложил из ладоней дельту.

Сфинкс! Ни слова, ни шелеста в голове.

Небо сплюснуто, кожа моря шершава, молчаливые метастазы смерти неумолимы и жестоки, как жизнь.

Я смотрел на горбушку острова, на лёгкую бумажную птицу, взлетевшую над пепельной полосой. Из какого она возникла сна? Потом появился звук, тонкий, из ниоткуда, словно плач невидимого ребенка.

Море замерло, солнце остановилось.

Птица вскрикнула, коснувшись песка, и над мёртвой, застывшей гладью вырос маленький столб огня.

Человечек бежал от острова, сначала чёрная точка, потом в точке высветились цвета, потом – вдруг – открылось лицо и на нём глаза и улыбка.

Море его держало. Море держало всех – мой Гелиотропион пытался сдвинуться с места, но песок превратился в камень.

Рыбы-фау тоже остановились. Их горящие любовью глаза смотрели на нас печально.

– Путешественникам наше вам с кисточкой! – крикнул издалека спаситель.

Он притопывал и приплясывал, приближаясь. Руки его взлетали, как ленты, – медленно, – и падали, извиваясь. В длинной, до пят, хламиде, состоящей из разноцветных заплат, он выглядел, как опереточный нищий. Голову прикрывало нечто, похожее на птичье гнездо.

– Вот они, твои девочки. – Он запрыгал на волосатой ноге – левой влево, на правой, на другой, – вправо. – Вся шестёрочка: эйн, цвей, дрей... Я тебя невзначай заметил. Я в это время сплю. Сон у меня сейчас. Ночью потому что дел столько, что ни разу не успеваешь выспаться. Спермохранилище, понимаешь, опорожняю. Самое весёлое тут, – он брызнул в мою сторону смехом, – термитка у меня случайно нашлась. Может, её спяну друзья забыли? Не знаю уж, кто тебя охраняет, но то, что всё это неспроста, – голову даю на усекновение.

Он был уже совсем близко.

Я выбрался из защитной полости и с опаской смотрел на твердь, ещё недавно бывшую морем.

Гелиотропион был спокоен. Но спокойствие его было угрюмым, деланным. Нет-нет, да и вонзался в мой мозг крохотный электрический коготок какого-то неосознанного сомнения.

– Давай, прыгай со своего «Титаника», пока песок не оттаял. Термиток больше у меня нет, а эти, – кивнул он на шестёрку убийц, вплавленных в застывший песок, – так и будут стоять на стрёме, тебя дожидаячись. Ты не бойся, что-нибудь да придумаем.

Я спрыгнул, море меня не съело, песок пружинил и чуть подрагивал под ногами.

Станный человек в балахоне уже тянул ко мне руку-змею.

– Мороморо, – сказал он и рассмеялся. – Или, если хочешь, – Мо-Мо. Как? Хорошее имячко? А остров, знаешь, как называется? С трёх раз угадаешь, с меня сундук золота. Не угадаешь – с тебя.

Я пожал плечами и не ответил.

– Сдаёшься? Ладно, прощаю. Остров тоже называется Мороморо. На всю оставшуюся смерть – Мороморо. Уловил юмор? Я и он – Мороморо. А тебя как звать, путешественник? И откуда путь держишь?

– Лунин – моя фамилия. – Я убрал руку за спину, чтобы он не вытряс из меня лишнего. Через

секунду я придумал себе место жительства и профессию. – Я из Альфавиля, метеоролог.

Мороморо – или как там его? – снова рассмеялся по-мефистофельски, услышав эти мои слова.

– Йя, йя, майн гот, Альфавиль! Марсзаготзерно – как же, знаем, что почём и кому! Славно, помню, там по осени погуляли, аж на Фобосе народ любовался, так красиво горело! А сюда какими дорогами?

– Так... Развеяться. Места новые посмотреть.

– Места... – начал он говорить что-то. Я его не слушал, я разглядывал цветные картинки на одежде этого непонятного человека. Или не человека?

Картинки были яркие, как лубок. Их было много, от них болели глаза и приторно замирало сердце.

Смотреть на них было трудно, а не смотреть – нельзя. Сила, безумие, обречённость, белая горячая бездна, провал, кратер, извергающий на тебя потоки кипящей влаги, animal menstruale, животное, умеющее лишь одно и готовое ради этого одного испепелить себя и вселенную. Женщина.

Я узнал её сразу.

Она всюду была со мной, печатью на моём сердце, всё такая же, с той же злой загадкой в глазах, тело её было открыто, губы её тянулись ко мне, в воздухе плавали мотыльки, они мешали дышать, я шёл к ней, задыхаясь от счастья, я лгал, я желал одного – креста и себя распятого...

Когда я пришёл на Марс и увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, я думал: прошлое – в прошлом. Я ошибался...

– Что-то у тебя глаза прыгают. На, курни, и – вперёд. Нахт остен, как говорил мой приёмный папа. И да не охромееет нога идущего.

Слова его погасили краски, одежда стала бесцветной, из швов вылезала пыль, из переплетенья пальцев тянулась ко мне пахитоса – длинная, благовонная, крапчатая.

Почему-то она тут же оказалась прилипшей к моим губам, и сладкий колючий дым наполнил мою голову вихрем.

Под мостом Мирабо
Тихо Сена течёт, –

пели мои сухие губы.

И уносит нашу любовь... –

вслед за мной тянул Мороморо песню унесённой любви.

Пахитоса прыгала от меня к нему, от него ко мне, небо Марса в прожилках света делалось и больше, и ближе, прозвучал холодный аккорд, запах серы, соли и ртути проскользнул через горло в лёгкие, Мороморо махал рукой, показывал в направлении

Солнца – я посмотрел туда, шагнул по песчаной лесенке и провалился в небо.

6

Было холодно, света не было. Ничего не было, только моё голое тело и чужая одинокая фраза, звучащая в моей больной голове: «Si vis vitam, para mortem».

Я потёр виски и услышал в темноте вздох.

– Кто здесь?

– Ты забыл? – Голос был мягкий, женский, печальный и незнакомый. – Это я.

Загорелся свет. Мягкий, тихий, как этот голос. Женщина с белой кожей и глазами, прячущимися в тени.

– Ты забыл меня? Вот... – Она погладила мысок живота, дельту. – Ты был здесь... – Она улыбнулась и позвала: – Иди же...

– Иди-иди, путешественник. – Я посмотрел в сторону. Мороморо сидел в тени, развалившись в широком кресле. – Неприлично заставляй даму ждать.

Воздух был тяжёлый, как мёд. Мутный и слабый свет лился неизвестно откуда. Я стоял на месте и не мог двинуться.

Мороморо хихикнул громко. Женщина вздрогнула, глазами потянулась ко мне, руки нервно гладили кожу.

Я сделал шаг и остановился, натолкнувшись на лицо Мороморо, на его вылезший наружу язык,

на подгнившие раздвоенные копытца, почёсывающие одно другое.

Ноги отказывались идти.

Мороморо смеялся в голос. Живот его подпрыгивал, словно мяч, складки кожи ходили волнами, во рту плясала безумная пахитоса.

– Посмотри, посмотри, посмотри... – Палец его показывал на меня. – Посмотри на этого человека. Он достиг родины, носовой канат брошен на землю, принцесса Марса выносит ему на блюде своё разбитое сердце... Чего ещё человеку надо?

Мороморо выплюнул пахитосу, вставил в губы вместо неё певучую деревянную палочку, и она запела – задумчиво, ласково, материнским голосом, каким убаюкивают дитя.

Он играл, и я чувствовал упругую силу, туманящую мои сердце и мозг и несущую меня на волнах желаний.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА